

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИТИЧЕСКОМУ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ

**Текст выступления на международной конференции "СССР 1989-1991:
исторический опыт и уроки для будущего"
(Горбачев-Фонд, 10-11 ноября 2011 г.)**

Носителями и проводниками правовой идеи в Советском Союзе, начиная со второй половины 1960-х, была численно небольшая, но очень энергичная группа людей, за которой в какой-то момент закрепилось название «правозащитное движение». Это были, в основном, выходцы из другого, намного более широкого, более сложно устроенного и еще более сложно определимого социокультурного сообщества, которое принято называть «шестидесятниками». Я не буду здесь пытаться давать определение шестидесятничеству; скажу только, что это вовсе не поколенческая категория. Шестидесятники были объединены не возрастом и не конкретной эпохой; их объединяли, – а, может быть, наоборот, разъединяли, – общие политико-культурные задачи, вставшие перед советской интеллигенцией после смерти Сталина.

Правозащитному движению я тоже не буду пытаться давать определение. Замечу лишь, что концепция прав человека, которую диссиденты-правозащитники подняли, как знамя, во второй половине 1960-х, в их практической активности понималась более чем узко. Речь шла, на самом деле, о протестном движении, направленном против практики политических преследований за инакомыслие. Иными словами, концепция прав человека понималась ими как защита прав и свобод – главным образом, свободы мысли, свободы слова и свободы совести – от незаконного насилия со стороны государственной власти. Многие из бывших диссидентов-правозащитников и по сей день считают, что «право прав человека» (Human Rights Law) к этой защите и сводится.

В общем, происхождение этой точки зрения на права человека объяснимо и закономерно. Наши представления о правах человека возникли практически вне контекста мирового развития общественной мысли, вполне автохтонно, исключительно на основе опыта отечественной истории. И, прежде всего, на основе уникального опыта Советской России – опыта общества, которое беспрецедентно долго управлялось с помощью широкомасштабного и крайне жестокого государственного террора. Того опыта, осмысление и преодоление которого и было основной исторической задачей шестидесятников. Именно поэтому в миропонимании диссидентов-правозащитников, – прямых наследников шестидесятничества, – защита прав человека оказалась сведена к общественному протесту против политических преследований, понимаемых как наследие и продолжение сталинизма. Сложные и неоднозначные коллизии, связанные с осуществлением доктрины прав человека в реальной общественной жизни,

оставались на периферии внимания идеологов советского правозащитного движения – а в практике активистов этого движения и вовсе не занимали никакого места.

В первой половине 1980-х правозащитная диссидентская активность резко пошла на спад. Почему? Обычно этот спад связывают с ужесточением политических репрессий при Андропове. Однако статистика, ставшая доступной для исследователей в 1990-е, не подтверждает этой связи: число арестов по политическим статьям Уголовного кодекса, действительно, несколько выросло – но отнюдь не в разы. Оно вполне сравнимо по порядку с числом арестов в первые брежневские годы, т.е., в годы возникновения и роста правозащитного движения (и оно, кстати, заметно ниже аналогичных цифр, относящихся к последним годам «либерального» хрущевского правления). Разница между брежневской эпохой и последующим трехлетием лишь в одном: тогда ущерб, наносимый репрессиями, с лихвой компенсировался притоком вновь рекрутируемых диссидентских кадров – теперь приток новых сил прекратился. Почему?

Все мои дальнейшие построения базируются на некоей гипотезе, в справедливости которой я уверен, но доказать которую я не в силах. Коллапс правозащитной активности в начале 1980-х связан, по моему убеждению, в первую очередь, с успехом правозащитной проповеди диссидентов в течение предыдущих полутора десятилетий. Диссидентам удалось убедить мыслящую часть советского общества и в том, что права человека являются базовой ценностью, и в том, что в Советском Союзе они нарушаются самым безобразным образом. Естественно, как только эта система аксиом утвердилась в общественном сознании, их бесконечное повторение потеряло всякий смысл, а диссидентская готовность пожертвовать собой ради того, чтобы в тысяча первый раз провозгласить, что лошади едят овес, сделалась немного смешной и перестала быть предметом общественного интереса и поведенческим образцом. А когда эти аксиомы (пусть даже взятые из вторых-третьих рук) были восприняты реформистски настроенной частью правящей элиты – вот тут и началась перестройка.

Все идеи перестройки имеют аналог, если не прямой или, на худой конец, косвенный источник в диссидентской мысли предшествующих десятилетий. В этом была сила перестройки, - но в этом была и ее слабость. Общество не было готово к разрешению проблем, не отрефлексированных заранее независимой общественной мыслью предшествующих полутора десятилетий.

Как это выглядело на практике?

Остановлюсь на одной-единственной проблеме: проблеме национального самосознания и межнациональных отношений. Вчера, на первой сессии, этой теме было уделено, на мой взгляд, слишком мало внимания - несоразмерно мало по сравнению с той ключевой и роковой ролью, которую сыграл в истории распада СССР «национальный вопрос».

Небольшое отступление. Те, кто бывал в поселке Кучино, Пермской области, в музее, который был создан на месте последнего советского политического лагеря, закрытого при Горбачеве, не могут не помнить так называемый «особый участок» - отдельно стоящий барак метрах в двухстах от основного лагеря, гибрид лагеря и тюрьмы, жуткое сооружение, от которого оторопь берет и которому нет аналогов в истории ГУЛАГа последних советских десятилетий. В политлагерях содержали, согласно официальной терминологии, «особо опасных государственных

преступников»; на «особом участке» кучинского лагеря содержали опаснейших из опасных. Основная масса простых советских антисоветчиков сюда не попадала.

Так кого же Советская власть сочла достойными этой строжайшей изоляции и этих нечеловеческих условий? Если посетитель не слишком впечатлителен и созерцание камер «особого участка» не отбило у него познавательного интереса, он может ознакомиться со списком заключенных «особого участка».

Так вот: подавляющее большинство этих заключенных - лидеры и активисты национальных движений, существовавших в Литве, Украине, Армении. Между прочим, в этом же бараке содержались и русские националисты.

Я знаком с некоторыми бывшими заключенными «особого участка», и сразу должен сказать, что это в высшей степени достойные, мужественные и искренние люди, зачастую - высокообразованные и интеллигентные. Я убежден, что режим, который, чтобы выжить, десятилетиями держит таких людей в бетонных гробах – исторически обречен. Горбачев сделал то, что должен был сделать: выпустил их на волю.

Но давайте называть вещи своими именами: почти все эти замечательные люди попали на «особый участок» лагеря «Пермь-36» за то, что они были радикальными националистами, сепаратистами, убежденными сторонниками полной государственной независимости своих республик. Таковыми они и остались, выйдя на свободу. Должен заметить, что при всем том стихийному, природному «бытовому интернационализму» Балиса Гаяускаса, Ашота Навасардяна, Василя Стуса или Энна Тарто могли бы позавидовать многие либералы. Но их стихийный интернационализм, их толерантность, – не толерантность даже, а неизменный доброжелательный интерес к людям других народов и культур, - оставался их личным делом. А вот их сепаратистская активность, как ни крути, не могла не представлять острую политическую проблему для руководства многонациональной империи. (В отличие от Евгения Григорьевича Ясина, мои коннотации к слову «империя» не являются однозначно негативными).

А откуда, собственно говоря, руководители перестраивающейся империи могли знать, как следует поступать с пассионарным национализмом и, самое главное, с пассионарными националистами, если они, руководители, хотят и права человека соблюсти, и империю сохранить? Диссидентская рефлексия не давала ответов на этот вопрос. Распространенное нынче мнение, что правозащитники дружно выступали за так называемое право народов на самоопределение, не соответствует действительности: их взгляды по этому вопросу были самыми разными – от безоговорочного признания этого права до столь же категорического его отрицания. Но и то, и другое представляло собой чисто теоретические воззрения: ни сторонники права на самоопределения не имели никакого представления о политико-правовых механизмах его осуществления, ни отрицатели этого права не представляли себе, что, в таком случае, следует делать с сепаратистскими движениями. Общий диссидентский взгляд на вещи сводился, в сущности, лишь к бесспорному утверждению, что нехорошо держать людей в тюрьме только лишь за то, что они публично высказывают свои убеждения, хотя бы и сепаратистские. Ну, конечно, нехорошо, – а дальше что? Пока сепаратистские лозунги оставались достоянием сравнительно небольших кружков радикально настроенной национальной интеллигенции, этого действительно было достаточно; когда же их подхватили

многотысячные толпы на улицах и площадях городов Союза – что тогда следовало делать? Разгонять сепаратистов силой? Устраивать повсюду референдум за референдумом? Распускать Союз? «Но смерть... но власть... но бедствия народны...»

Руководители страны, черпавшие свои реформистские идеи из общественных настроений, или, по крайней мере, сильно от этих настроений зависевшие, были не в состоянии решить эту политико-правовую квадратуру круга. Мировой опыт – хотя бы опыт Квебека, Фландрии или Каталонии – также не был изучен заранее; да и вообще это еще большой вопрос, насколько чужой опыт применим в подобных вопросах.

Так что ни общество, ни правительство не было готово к решению национального вопроса в многонациональной империи. По одному по этому распад СССР был предрешен.

Но я хотел бы обратить ваше внимание на другую сторону медали. Принципы права – не столько концепция прав человека, сколько идея правового государства, общий принцип разрешения общественных конфликтов в рамках права – несовместимы не только с идеей внеправового государственного насилия. Еще больше они несовместимы с идеей революционного насилия, вообще с идеей насилия как инструмента разрешения общественных проблем. (Взгляд на право, как на введенное в договорные рамки системное насилие общества над личностью, диссидентскому мировосприятию был чужд).

Опыт советского правозащитного движения был в годы перестройки всеобщим камертоном. И по этому камертону настраивали себя не только реформаторы во власти. На этот же опыт опирались и общественные движения. В том числе – и резко оппозиционные к союзному центру. В том числе – и националистические сепаратистские движения в союзных республиках. Во второй половине 1980-х почти инстинктивное отвращение к любым насильственным политическим решениям, отторжение идеи насилия как инструмента политики, было всеобщим, как всеобщим был и ужас перед возможной перспективой гражданской войны. Это отторжение, этот ужас – тоже результат осмысления опыта отечественной истории XX века, в том числе и не в последнюю очередь – результат диссидентского осмысления этого опыта, результат многолетней диссидентской проповеди, провозгласившей право как основную альтернативу насилию, как государственному, так и революционному.

Ну и что, скажете вы, Союз ведь все равно распался?

Да, распался, и я не принадлежу к числу тех, кто считает демонтаж этого государства безусловным благом. Но почему, собственно, мы должны сравнивать историческую реальность распада с гипотетической альтернативой сохранения многонационального союзного государства? Почему мы так редко сравниваем эту историческую реальность с другой, исторической же, реальностью – ужасающей реальностью Югославии 1990-х?

Мне кажется, что отвечая на поставленный вопрос – какую роль сыграли концепция правового государства и прав человека в годы перестройки – нельзя забывать об этой альтернативе. Конечно, в годы перестройки и в нашей исторической реальности были вспышки политического и, в частности, межнационального насилия. Нагорный Карабах, Тбилиси, Фергана, Баку, Вильнюс и Рига, Приднестровье, далее везде. Но я убежден, что в отсутствие правозащитной диссидентской рефлексии конца 1960-начала 1980-х этим бы не

обошлось, и Советский Союз был бы обречен воспроизвести югославский вариант, причем в стократном масштабе.

К несчастью, сегодня диссидентская рефлексия перестает быть общественно значимым психологическим фактором. Да и концепция прав человека уже не так однозначно связана в общественном сознании с принципами ненасилия, ибо эти принципы не очень вяжутся с международной практикой последних двух десятилетий, в частности – с практикой «гуманитарных интервенций». Имунитета против политического насилия больше не существует, увы. И поэтому лично я ожидаю «перестройку-2» не с таким горячим нетерпением, как многие из тех, кто выступал здесь вчера и сегодня.